

От редактора

Замысел второго романа возник у Набокова летом 1927 г. в Бинце, курорте на острове Рюген в Померании. Зимой, в Берлине, он принялся за сочинение книги, которая продвигалась с большим трудом. В отличие от «Машеньки», во многом построенной на автобиографическом материале, «Король, дама, валет» — роман из немецкой жизни, без русских героев и реминисценций. Набоков создавал его, по его собственному позднему признанию, «в мечте о чистом вымысле», «независимо от всяких эмоциональных обязательств». 13 февраля 1928 г. он писал матери: «Я кончил вчера около двух часов ночи третью главу (всего 90 страниц уже!) и должен сказать, что доволен. То, что я пишу, гораздо сложнее и глубже “Машеньки”. Боюсь, что раньше лета не кончу». Пять дней спустя он сообщил ей новые подробности:

Продолжаю вести кротообразную жизнь, т. е. никого не вижу, кроме учеников, и корплю, корплю, до заворота мозгов, над моим романом. Четвертая

глава почти кончена, — кончу ее, вероятно, сегодня. Мне так скучно без русских в романе, что хотел было компенсировать себя вводом энтомолога, но вовремя, во чреве музыки, убил его. Скука, конечно, неудачное слово: на самом деле я блаженствую в среде, которую создаю, но и устаю порядком. Пью много мальцбира, да еще Вера делает мне особое питье из яйца, какао, апельсинового сока и красного вина. Боюсь, что в романе будет многовато клубнички, но ничего не поделаешь: если описывать, как человек ходит, улыбается, ест, то приходится столь же подробно описывать, как он действует на кипридовом поприще.

Роман был дописан в июне 1928 г. и передан в берлинское издательство «Слово». К выходу книжного издания в берлинской газете «Руль» 23 сентября 1928 г. состоялась публикация отрывка из романа (часть главы IV), с примечанием, позволяющим установить дату выхода книги в свет: «Пользуясь любезным разрешением Кн-ва “Слово”, приводим отрывок из только что вышедшего в указанном из-ве романа В. Сирина: “Король, Дама, Валет”». В том же году Набоков продал права на немецкое издание, получив щедрый гонорар, который позволил ему с женой отправиться в Восточные Пиренеи ловить бабочек. Перевод (под названием «Король, дама, валет: игра с судьбой») подготовил писатель, переводчик Гоголя, Тургенева и Лескова Зигфрид фон Фегезак, с которым Набоков встречался в Париже в начале 1929 г.

«Король, дама, валет» обнаруживает все основные зачатки будущей изощренной игры Набокова с чита-

тельскими ожиданиями, продолженной затем в «Камере обскура» и «Отчаянии». Многому научившийся у Г. Флобера и И. Бунина, хорошо знающий современных западных писателей, Набоков к концу 20-х гг. становится в русской литературе одним из самых тонких мастеров формы, его стиль называют «сплошь блестящим, нигде не матовым» (Ю. Айхенвальд), «зорким» и «кинематографичным» (Г. Хохлов), «скользящим» и «подлинно искусным» (В. Ходасевич), «виртуозным», отмеченным «ослепительной, классической яркостью» (Г. Адамович).

В 1966 г. Дмитрий Набоков подготовил дословный английский перевод романа, предназначавшийся для американского издательства «McGraw-Hill». Перечитав русский оригинал, Набоков отложил сочинение «Ады» и внес в перевод множество уточнений, дополнений и исправлений, развил некоторые образы, диалоги и описания, переписал финал*. В предисловии к американскому изданию романа, опубликованному в 1968 г., он заметил следующее:

Не хочу обсуждением сделанных мною небольших изменений портить удовольствие тем, кто в будущем пожелал бы сравнить оба текста. Позволю себе только заметить, что они были сделаны не для того, чтобы подрумянить труп, а скорее чтобы дать еще небездыханному телу воспользоваться некоторыми внутренними возможностями, в которых ему было

* Одно из самых значительных дополнений (в начале гл. XII, где с эффектом стеганографии появляется иностранная чета) мы приводим в нашем переводе в приложении к настоящему изданию. (*Здесь и далее – прим. ред.*)

прежде отказано вследствие неопытности и нетерпения, торопливости мысли и нерасторопности слова*.

Первое издание 1928 г. переиздавалось репринтным способом в 1969 г. («McGraw-Hill») и в 1979 г. в «Ардисе». Печатается по изданию «Ардиса» по правилам современной орфографии и с исправлением замеченных опечаток**.

* Перевод Г. А. Барабтарло и Веры Набоковой.

** Редактор благодарит Вадима Алексеевича Маневича (Нью-Йорк), любезно предоставившего для сверки текстов копию издания романа 1979 г.

Король, дама, валет

Роман

Глава I

Огромная, черная стрела часов, застывшая перед своим ежеминутным жестом, сейчас вот дрогнет, и от ее тугого толчка тронется весь мир: медленно отвернется циферблат, полный отчаяния, презрения и скуки; столбы, один за другим, начнут проходить, унося, подобно равнодушным атлантам, вокзальный свод; потянется платформа, увозя в неведомый путь окурки, билетики, пятна солнца, плевки; не вращая вовсе колесами, проплывет железная тачка; книжный лоток, увешанный соблазнительными обложками — фотографиями жемчужно-голых красавиц, — пройдет тоже; и люди, люди, люди на потянувшейся платформе, переставляя ноги и все же не подвигаясь, шагая вперед и все же пятясь, — как мучительный сон, в котором есть и усилие невероятное, и тошнота, и ватная слабость в икрах, и легкое головокружение, пройдут, отхлынут, уже замирая, уже почти падая навзничь...

Больше женщин, чем мужчин, — как это всегда бывает среди провожающих... Сестра Франца, та-

кая бледная в этот ранний час, нехорошо пахнущая натошак, в клетчатой пелерине, какой, небось, не носят в столице, — и мать, маленькая, круглая, вся в коричневом, как плотный монашек. Вот запорхали платки.

И отошли не только они, — эти две знакомые улыбки, — тронулся не только вокзал, с лотком, тачкой, белым продавцом слив и сосисок, — тронулся и старый городок в розоватом тумане осеннего утра: каменный курфюрст* на площади, землянично-темный собор, поблескивающие вывески, цилиндр, рыба, медное блюдо парикмахера... Теперь уж не остановить. Понесло! Торжественно едут дома, хлопают занавески в открытых окнах родного дома, потрескивают полы, скрипят стены, се-стра и мать пьют на быстром сквозняке утренний кофе, мебель вздрагивает от учащающихся толчков, — все скорее, все таинственнее едут дома, собор, площадь, переулки... И хотя уже давно мимо вагонного окна разворачивались поля в золотистых заплатах, Франц еще ощущал, как отъезжает городишко, где он прожил двадцать лет.

В деревянном, еще прохладном отделении третьего класса сидели кроме Франца: две плюшевых старушки, дебелая женщина с корзиной яиц на коленях и белокурый юноша в коротких желтых штанах, крепкий, угластый, похожий на свой же туго набитый, словно высеченный из желтого камня мешок, который он энергично стряхнул с плеч

* Владетельный германский князь, пользовавшийся правом выбора императора.

и бухнул на полку. Место у двери, против Франца, было занято журналом с голой стриженной красавицей на обложке, а в коридоре, у окна, спиной к отделению, стоял широкоплечий господин.

Город уехал. Франц схватился за бок, навывлет раненный мыслью, что пропал бумажник, в котором так много: крепкий билетик, и чужая визитная карточка, и непечатый месяц человеческой жизни. Бумажник был тут как тут, плотный и теплый. Старушки стали шевелиться, шуршать, разоблачать бутерброды. Господин, стоявший в проходе, повернулся и, слегка качнувшись, отступив на полшага и снова поборов шаткость пола, вошел в отделение.

Только тогда Франц увидел его лицо: нос — крохотный, обтянут по кости белесой кожей, кругленькие, черные ноздри непристойны и асимметричны, на щеках, на лбу — целая география оттенков — желтоватость, розоватость, лоск. Бог знает, что случилось с этим лицом, — какая болезнь, какой взрыв, какая едкая кислота его обезобразили. Губ почти не было вовсе, отсутствие ресниц придавало выпуклым, водянистым глазам невольную наглость. А наряден и статен был господин на диво: шелковый галстук в нежных узорах нырял, слегка изогнувшись, под двубортный жилет. Руки в серых перчатках подняли, раскрыли журнал с соблазнительной обложкой.

У Франца дрожь прошла между лопаток, и во рту появилось странное ощущение: неотвязно мерзкая влажность нёба, отвратительно жив толстый, пупырчатый язык. Память стала паноптикумом, и он знал, знал, что там, где-то в глубине, — камера

ужасов. Однажды собаку вырвало на пороге мясной лавки; однажды ребенок поднял с панели и губами стал надувать нечто, похожее на соску, желтое, прозрачное; однажды простуженный старик в трамвае пальнул мокротой... Всё — образы, которых Франц сейчас не вспомнил ясно, но которые всегда толпились на заднем плане, приветствуя истерической судорогой всякое новое, сродное им, впечатление. После таких ужасов, в те еще недавние дни, вялый, долговязый, перезрелый школьник ронял из рук портфель, бросался ничком на кушетку, и его долго, мучительно мутило. Мутило его и на последнем экзамене — оттого, что сосед по парте, задумавшись, грыз и без того обгрызанные, мясом ущемленные ногти. И школу Франц покинул с облегчением, полагая, что отделался навсегда от ее грязноватой, прыщеватой жизни.

Господин разглядывал журнал, и сочетание его лица и фотографии на обложке было чудовищно. Румяная торговка сидела рядом с монстром, прикасаясь к нему сонным плечом; рюкзак юноши лежал бок о бок с его черным, склизким, пестрым от наклеек чемоданом; а главное — старушки, несмотря на мерзкое соседство, жевали бутерброды, посасывали мохнатые дольки апельсинов, завертывали корки в бумажки и деликатно бросали их под лавку... Франц стискивал челюсти, сдерживая смутный позыв на рвоту. Когда же господин отложил журнал и стал сам, не снимая перчаток, есть булочку с сыром, вызывающе глядя на Франца, он не стерпел. Быстро встав, запрокинув побелевшее лицо, он расштал, стащил сверху свой чемодан, надел пальто

и шляпу и, неловко стукнувшись чемоданом о косяк, вышел в коридор.

Ему сразу стало легче, но головокружение не прошло. Вдоль окон пролетал буковый лес, рябили лиловатые стволы, испещренные солнцем. Он неуверенно пошел по коридору, всматриваясь в отделения. Только в одном из них было свободное место; зато там сидела сердитая женщина с двумя бледными, чернорукими, раздраженными детьми, которые, подняв плечи в ожидании неизбежного подзатыльника, тихонько сползали с лавки, чтобы поиграть сальными бумажками на полу, у ног пассажиров. Франц дошел до конца вагона и там остановился, пораженный небывалой мыслью. Эта мысль была так хороша, так дерзновенна, что даже сердце запнулось и на лбу выступил пот. «Нет, нельзя...» — вполголоса сказал Франц, уже зная, впрочем, что соблазна не перебороть. Затем, двумя пальцами проверив узел галстука, он с восхитительным замислением под ложечкой перешел по шаткой соединительной площадке в следующий вагон.

Это был вагон второго класса, а второй класс был для Франца чем-то непозволительно привлекательным, немного греховным, пожалуй, — с привкусомпряного мотовства, — как рюмка густого белого кюрасо, как трехминутная поездка в таксомоторе, как тот огромный помплимус*, похожий на желтый череп, который он как-то купил по дороге в школу. О первом классе нельзя было мечтать вовсе: бархатные покои, где сидят дипломаты в дорожных

* Точнее помпельмус — род цитруса с крупными плодами.

кепках и почти неземные актрисы!.. Но во второй... во второй... ежели набраться смелости... Покойный отец (нотариус и филателист) ездил, говорят, — давно, до войны, — вторым классом. И все-таки Франц не решался — замирал в начале прохода, у таблички, сообщавшей вагонный инвентарь, — и уже не решетчатый лес мелькал за окнами, а благородно плыли просторные поля, и вдалеке, параллельно полотну, текла дорога, по которой улепетывал лилипутский автомобиль.

Его вывел из затруднения кондуктор, как раз совершавший обход. Франц прикупил своему билету дополнительный чин. Гулким мраком бабахнул короткий туннель. Опять светло, и уже нет кондуктора.

В купэ*, куда Франц вошел с безмолвным, низким поклоном, сидели только двое: чудесная, большеглазая дама и пожилой господин с подстриженными желтыми усами. Франц снял пальто и осторожно сел. Сиденье было так мягко, так уютно торчал у виска полукруглый выступ, отделяющий одно место от другого, так изящны были снимки на стенке: какой-то собор, какой-то водопад... Он медленно вытянул ноги, медленно вынул из кармана газету; но читать не мог: оцепенел в блаженстве, держа раскрытую газету перед собой. Его спутники были обаятельны. Дама — в черном костюме, в черной шапочке с маленькой бриллиантовой ласточ-

* В настоящем издании сохраняются некоторые черты набоковского правописания, особенности его пунктуации и транслитерации (написание слов шкап, чорт, свэтер, кашнэ, пенснэ и др., а также имен собственных, например, Тоффана, Лэстер).

кой, лицо серьезное, холодноватые глаза, легкая тень над губой и бархатно-белая шея в нежнейших поперечных бороздках на горле. Господин, верно, иностранец, оттого что воротничок мягкий, и вообще... Однако Франц ошибся.

«Пить хочется, — протяжно сказал господин. — Жалко, что нет фруктов...»

«Сам виноват, — ответила дама недовольным голосом и погода добавила: — Я все еще не могу забыть. Это было так глупо...»

Драйер слегка закатил глаза и не возразил ничего.

«Сам виноват, что пришлось прятаться...» — сказала она и машинально поправила юбку, машинально заметив, что пассажир, появившийся в углу, — молодой человек в очках, — смотрит на голый шелк ее ног. Потом пожала плечом.

«Все равно... — сказала она тихо, — не стоит говорить».

Драйер знал, что молчанием он жену раздражает неизъяснимо. В глазах у него стоял мальчишеский, озорной огонек, мягкие складки у губ двигались — оттого, что он перекачивал во рту мятную лепешку, — и одна бровь, желтая, шелковистая, была поднята выше другой. История, которая так рассердила жену, была, в сущности говоря, пустая. Август и половину сентября они провели в Тироле, и вот теперь, на обратном пути, остановившись на несколько дней по делу в антикварном городке, он зашел к кухне Лине, с которой был дружен в молодости, лет двадцать тому назад. Жена отказалась пойти наотрез. Лина, кругленькая дама с бородав-

кой как репейник на щеке, все такая же болтливая и гостеприимная, нашла, что «годы, конечно, наложили свой след», но что могло быть и хуже, угостила его отличным кофе, рассказала о своих детях, пожалела, что их нет дома, расспросила его о жене, которой она не знала, о делах, про которые знала понаслышке; потом стала советоваться. В комнате было жарко, вокруг старенькой люстры с серыми, как грязный ледок, стекляшками кружились мухи, садясь все на то же место, что почему-то очень его смешило, и с комическим радушием протягивали свои плюшевые руки старые кресла, на одном из которых дремала злая обветшалая собачка. И на выжидательный, вопросительный вздох собеседницы он вдруг сказал, рассмеявшись, оживившись: «Ну что ж, пускай он поедет ко мне, — я его устрою...» Вот это жена и не могла простить. Она назвала это: «Наводнять дело бедными родственниками» — но, в сущности говоря, какое же наводнение мог произвести один, всего один бедный родственник? Зная, что Лина жену пригласит, а жена не пойдет ни за что, — он солгал, сказал Лине, что уезжает в тот же вечер. А потом, через неделю, на вокзале, когда они уже уселись в вагон, он вдруг из окна увидел Лину, Бог весть чем привлеченную на платформу. И жена ни за что не хотела, чтобы та заметила их, и хотя ему очень понравилась мысль купить на дорогу корзиночку слив, он не высунулся из окна с легким «псст...», не потянулся к молодому продавцу в белой куртке...

Удобно одетый, совершенно здоровый, с туманом легких мыслей в голове, с мятным ветер-

ком во рту, Драйер сидел скрестив руки, и складки мягкой материи на сгибах как-то соответствовали мягким складкам его щек, и очерку подстриженных усов, и вееркам морщинок у глаз. И глядел он, слегка надув шею, слегка исподлобья, с чортиками в глазах, на зеленый вид, жестикулирующий в окне, на прекрасный профиль Марты, обведенный смешной солнечной каемкой, на дешевый чемодан молодого человека в очках, который читал газету в углу, у двери. Этого пассажира он обошел, пощупал, пощекотал долгим, но легким, ни к чему не обязывающим взглядом, отметил зеленый крап его галстучка, стоившего, разумеется, девяносто пять пфеннигов, высокий воротничок, а также манжеты и передок рубашки, — рубашки, существующей, впрочем, только в идее, так как, судя по особому предательскому лоску, то были крахмальные доспехи довольно низкого качества, но весьма ценимые экономным провинциалом, который нацепляет их на суровую сорочку, сшитую дома. Над костюмом молодого человека Драйер нежно загрустил, подумав о том, что покрой пиджаков трогателен своей недолговечностью и что этот синий в частую белую полоску костюм уже пять сезонов как исчез из столичных магазинов.

В стеклах очков внезапно родились два встревоженных глаза, и Драйер отвернулся, поглатывая слюну с легким чмоканием. Марта сказала:

«Вообще, происходит какая-то путаница».

Муж вздохнул и ничего не ответил. Она хотела добавить что-то, но почувствовала, что молодой человек в очках прислушался, — и, вместо слов, рез-

ким движением облокотилась на столик, оттянув кулаком щеку. Посидев так до тех пор, пока мелькание леса в окне не стало тягостным, она, с досадой, со скукой, медленно разогнулась, откинулась, прикрыла глаза. Сквозь веки солнце проникало сплошной мутноватой алостью, по которой вдруг побежали чередой светлые полосы — прозрачный негатив движущегося леса, — и каким-то образом вмешалось в эту красноту, в это мелькание, медленно и близко поворачивающееся к ней, невыносимо веселое лицо мужа, и она, вздрогнув, открыла глаза. Но муж сидел сравнительно далеко и читал книжку в кожаном переплете. Читал он внимательно, с удовольствием. Вне солнцем освещенной страницы не существовало сейчас ничего. Он перевернул страницу, и весь мир, жадно, как игривая собака, ожидавший это мгновение, метнулся к нему светлым прыжком, — но, ласково отбросив его, Драйер опять замкнулся в книгу.

То же резвое сияние было для Марты просто вагонной духотой. В вагоне должно быть душно; это так принято и потому хорошо. Жизнь должна идти по плану, прямо и строго, без всяких оригинальных поворотиков. Изящная книга хороша на столе, в гостиной или на полке. В вагоне, для отвода скуки, можно читать какой-нибудь ерундовый журналичко. Но эдак вкушать и впивать... переводную новеллу, что ли, в дорогом переплете. Человек, который называет себя коммерсантом, не должен, не может, не смеет так поступать. Впрочем, возможно, что он делает это нарочно, назло. Еще одна показная причуда. Ну что ж, чуди, чуди. Хо-

рошо бы сейчас вырвать у него эту книжку и запечатать ее в чемодан...

В это мгновение солнечный свет как бы обнажил ее лицо, окатил гладкие щеки, придал искусственную теплоту ее неподвижным глазам, с их большими, словно упругими зрачками в сизом сиянии, с их прелестными темными веками, чуть в складочку, редко мигавшими, как будто она все боялась потерять из виду непрременную цель. Она почти не была накрашена; только в тончайших морщинках теплых, крупных губ сохла оранжево-красная пыльца.

И Франц, до сих пор таившийся за газетой в каком-то блаженном и беспокойном небытии, живший как бы *вне* себя, в случайных движениях и случайных словах его спутников, медленно стал расти, сгущаться, утверждаться, вылез из-за своей газеты и во все глаза, почти дерзко, посмотрел на даму.

А ведь только что его мысли, всегда склонные к бредовым сочетаниям, сомкнулись в один из тех мнимо стройных образов, которые значительны только в самом сне, но бессмысленны при воспоминании о нем. Переход из третьего класса, где тихо торжествовало чудовище, сюда, в солнечное купэ, представился ему как переход из мерзостного ада, через пургаторий* площадок и коридоров, в подлинный рай. Старичок кондуктор, давеча пробивший ему билет и сразу исчезнувший, был, казалось ему, убог и полновластен, как апостол Петр. Какая-то лубочно-благочестивая картина, испугавшая его в детстве, опять странно ожила. Он обра-

* Чистилище.

тил кондукторский щелк в звук ключа, отпирающего райский замок. Так, в мистерии, по длинной сцене, разделенной на три части, восковой актер переходит из пасти дьявола в ликующий парадиз. И Франц, отталкивая навязчивую и чем-то жутковатую грезу, стал жадно подыскивать приметы человеческие, обиходные, чтобы прервать наваждение.

Сама Марта ему помогла: глядя искоса в окно, она зевнула, дрогнув напряженным языком в красной полутьме рта и блеснув зубами. Потом заморгала, разгоняя ударами ресниц щекочущую слезу. И Франца потянуло тоже к зевоте. В ту минуту, как он, не справившись с силой, распиравшей нёбо, судорожно открыл рот, Марта на него взглянула и поняла по его зевоте, что он только что на нее смотрел. И сразу рассеялось болезненное блаженство, которое Франц недавно ощущал, глядя на мадоннообразный профиль. Он насупился под ее равнодушным лучом и, когда она отвернулась, мысленно сообразил, будто протрещал пальцем по тайным счетам, сколько дней своей жизни он отдал бы, чтобы обладать этой женщиной.

Резко хряснула дверь, и взволнованный лакей, точно предупреждая о пожаре, сунулся, рывкнул и метнулся дальше — выкрикивать свою весть.

Втайне Марта была против этих жульнических, летучих обедов, за которые дерут втридорога, хотя дают дрянь, и это почти физическое ощущение лишней траты, смешанное с чувством, что кто-то надует и, надувая, наживает, было так в ней сильно, что, если б не тошный голод, она бы вовсе в столовый вагон не пошла. Сердито и смут-

но она позавидовала юнцу в очках, который при напоминании об обеде полез в карман пальто, висевшего рядом, и вытащил бутерброд. Сама же встала, взяла сумку под мышку. Драйер нашел фиолетовую ленточку в книге, заложил страницу и, выждав секунды две, как будто не мог сразу перейти из одного мира в другой, легонько хлопнул себя по коленям и выпрямился. Он тотчас заполнил все купэ: был он один из тех людей, которые, несмотря на средний рост и умеренную плотность, производят впечатление громоздкости. Франц поджал ноги. Марта и за нею муж двинулись мимо него, вышли.

Франц остался с серым бутербродом в опустевшем купэ. Он жевал и глядел в окно. Поднимался по диагонали окна зеленый откос, заполнил окно доверху, затем, разрешив железный аккорд, грохнул сверху мост, и мгновенно зеленый скат пропал, распахнулся свободный вид, луга, ивы вдоль ручья, лиловатые гряды капусты. Франц проглотил последний кусок, поерзал, прикрыл глаза.

Столица... В самом названии этой незнакомой еще столицы — в увесистом грохоте первого слога и в легком звоне второго — было для него что-то волнующее. Экспресс уже как будто мчал его по знаменитому проспекту, обсаженному исполинскими древними липами, под которыми кипела цветистая толпа. Промчал экспресс мимо этих лип, пышно выросших из названия проспекта*, и влетел под огромную арку в перламутровых блестках. Дальше

* Унтер-ден-Линден (*нем.* Unter den Linden — под липами) — один из наиболее известных бульваров Берлина.

был увлекательный туман, где поворачивалась фотографическая открытка — сквозная башня в расплывчатых огнях на черном фоне. Она исчезла, и в сияющем магазине, среди золоченых болванок, изображавших торсы, и чистых зеркал, и стеклянных прилавков, Франц разгуливал — в визитке, в полосатых штанах, в белых гетрах — и плавным движением руки направлял покупателей в нужные им отделы. Это уже была не совсем сознательная игра мысли, но еще не сон; и в тот миг, когда сон собрался его подкосить, Франц опять овладел собой, направил мысли по собственному усмотрению, оголил плечи даме, только что сидевшей у окна, прикинул — взволнован ли он? — затем, сохранив голые плечи, переменил голову, подставил лицо той семнадцатилетней горничной, которая испарилась с серебряной суповой ложкой до того, как он успел ей объяснить в любви; но и эту голову он затушевал и вместо нее приделал лицо одной из тех лихих столичных красавиц, которые встречаются главным образом на ликерных и папиросных рекламках; и только тогда образ ожил: гологрудая дама подняла к пунцовым губам рюмку, покачивая ажурной ногой, с которой спадала красная туфелька без задника. Туфелька свалилась, и Франц, нагнувшись за ней, пошатнулся, мягко нырнул в темную дремоту. Он спал с разинутым ртом, так что были на его бледном лице три дырки: две блестящих — стекла очков, и одна черная — рот. Драйер это отметил, когда, час спустя, вернулся с женой из вагона-ресторана. Они молча переступили через протянутую мертвую ногу. Марта положила сумку на откидной

столик под окном, и никелевый глазок сумки сразу ожил, мелко заиграл зеленым блеском. Драйер закурил сигару.

Обед оказался недурным, и Марта теперь не жалела, что пошла. Цвет лица у нее как-то потеплел, прекрасные глаза были влажны, блестели свежо подмазанные губы; она улыбнулась, чуть обнажив резцы, и эта довольная, драгоценная улыбка медлила на ее лице несколько мгновений. Драйер глядел на жену, слегка прищурясь, наслаждаясь ее улыбкой, как неожиданным подарком, — но ни за что в мире он не показал бы этого. Когда улыбка исчезла, он отвернулся, подобно удовлетворенному зеваче, после того как уличный торговец поднял и снова положил на возок нечаянно рассыпавшиеся апельсины.

Франц вдруг подтянул ногу, но не проснулся. Поезд стал грубо тормозить. Проплыли красноватые стены, огромная труба, словно выложенная мозаикой, товарные вагоны, стоявшие на запасном пути; и затем в отделении потемнело: вокзал.

«А я, моя душа, пойду прогуляться», — сказал Драйер, любивший курить на свежем воздухе.

Марта, оставшись одна, откинулась в угол, посмотрела, зевнув, на мертвеца в очках, равнодушно подумала, что он сейчас съедет на пол. Драйер, гуляя по платформе, мимоходом поиграл пальцами по оконному стеклу, но жена больше не улыбнулась, — и, пыхнув дымом, он двинулся дальше. Шел он неторопливой, чуть подпрыгивающей походкой, заложив руки за спину и выпятив сигару. Между прочим он подумал о том, что хорошо бы так

прогуливаться под сводами незнакомого вокзала где-нибудь по пути в Андалузию, Багдад, Нижний Новгород... Можно хоть сегодня пуститься в путь: земной шар огромен и кругл, — и денег достаточно на пять, а то и больше, полных обхватов. Марта бы, впрочем, ни за что не поехала. Никак даже не скажешь ей: поедem, дела подождут. Купить, что ли, газету; биржа, пожалуй, тоже любопытная вещь. И надо узнать, перелетел ли этот молодчик через океан? Америка, Мексико, Пальмовый Пляж. Вот Вилли Грюн там побывал, звал с собой. Нет, ее не уломать... Где же, в сущности говоря, газетный лоток... Этот велосипед с завернутыми лапками сейчас так отчетлив, а забуду его навсегда, забуду, что смотрел на него, все забуду... И вот, багажный вагон тронулся, поплыл. Э! да это мой поезд... А все-таки надо купить...

Драйер мелкой рысью кинулся к лотку, выбрал на ладони монету, кинулся обратно, засовывая газету в карман. Он не очень ловко вскочил на проплывавшую подножку и не сразу мог отворить дверь. Посмеиваясь и глубоко дыша, он прошел один вагон, второй, третий. В предпоследнем коридоре учтиво отодвинулся, чтобы пропустить его, длинный господин. Драйер, мимоходом глянув на него, увидел лицо взрослого человека с носиком грудного младенца. «Занятно, — подумал Драйер, — очень занятно». В следующем вагоне он отыскал свое купэ, опять переступил через мертвую ногу и тихонько сел. Марта, по-видимому, спала. Он развернул газету и вдруг заметил, что Марта глядит на него в упор.